

1924/0703
(миско)

Ненашев Василий



Там же ксер. с. 28
29

День памяти

— Расскажите о ваших первых впечатлениях от встречи с Анатолием Васильевичем.

Верберг: Я поступала в ГИТИС дважды. В первый раз не поступила. На следующий год решила попытать счастья, пошла разузнавать, где кто набирает курс. Из всех фамилий знакомы оказались две: Ефремов, которого я знала только как киноактера, и Эфрос, чье имя было, что называется, на слуху, но не более того. Ни единого его спектакля я, представьте себе, не видела. Поступила в итоге и к Эфросу и к Ефремову, но документы мои были в Школе-студии, и уже должен был происходить какой-то из общеобразовательных экзаменов. Вдруг, вечером, звонит мне сотрудница гитисовского деканата и выдает следующую фразу: "Ты тут дома сидишь, а Эфрос бегаёт по садику и тебя ищет". Это меня убило: Эфрос — меня — ищет и что мне теперь делать. Прихожу во МХАТ, сочинила какую-то историю. Пафос сводился к тому, что мне необходимо срочно забрать документы. Потом, под жутчайшим ливнем, пряча документы под курткой, приперлась в гитисовский садик, искать, где тут бегаёт Эфрос, который ищет некую Верберг.

В садике, нетрудно представить, ровно никто не бегаёт, поднимаюсь в деканат, рядышком с ним была такая маленькая комната, и вот эта сотрудница, что мне звонила, говорит: "Иди туда, Анатолий Васильевич сейчас придёт". Иду, сижу. А там такой диванчик мягкий, полумрак. Ну, а я про театр что знала: все артистки проститутки, а хорошую роль просто так никому не дают. И вот сижу и думаю, зачем я ушла из МХАТа, где так все было хорошо. Поэтому, к тому моменту, когда А.В., с этой своей потрясающей улыбкой вошел в комнату, со мной делалось что-то ужасное. Но он вошел, спросил, куда, мол, я подевалась, и постепенно все прошло. Хотя абсурд первой встречи запомнился.

Ненашев: А у меня первая встреча с Эфросом произошла в армии. Моя сестра прислала мне туда его книжку. Сестра была библиотечкарем, часто ездила в Москву, видела все его спектакли, Эфрос был ее кумиром. Поэтому она не прислала мне Станиславского или Немировича-Данченко, а именно Эфроса. Половины я не понял, но вот стиль его, эта его легкость, в сочетании с тем моральным складом, который прочитывался, — понял сразу. После армии приехал в Москву, пытался поступить в Шуку, меня не приняли, но в Москве я все равно остался, устроился работать шофером автобуса, и очень удачно попал в студию, которую вел Андрей Росинский. На следующий год стал поступать снова. В Щепкинское не взяли, не ваше, мол, это дело. Не взяли и в Школу-студию. А вот в ГИТИС взяли сразу.

Начались занятия. Пришел Анатолий Васильевич, попросил, как положено, приготовить этюды. Мы все чего-то напридумывали, он поглядел и говорит: "С этим все, дальше начинаем заниматься тем делом, которым вы будете заниматься всю свою жизнь. Берем "Сон в летнюю ночь" Шекспира, берем Мольера (сейчас уже не помню, какая была пьеса) — одним словом, классику. Конечно, это не по программе, это должно быть только на третьем курсе, но заниматься с вами ерундой я не хочу". Потом, уже на третьем курсе, Наталья Анатольевна Крымова, прямо при нас сказала ему, что "ерун-



дитисовский его курс — тоже. В числе тех "замечательных ребят", кого не сумел он оставить рядом с собой, с кем не успел создать — в очередной, в который уже, раз — свой театр, — были и те двое, кого я позвал, чтобы вместе посидеть и вместе вспомнить. Когда они говорят о том, как все могло бы сложиться, если бы не смерть Анатолия Васильевича, я не могу не думать, что и самой смерти могло бы не произойти, будь с ним рядом эти молодые родные лица. Что несомненно, что не предположение, но данность, — те, кому довелось с Эфросом и с домом его соприкоснуться, — его не забыли и вряд ли когда-нибудь забыть сумеют: по причине, прежде всего, даже не степени Дара, — но его единственности. Его отдельности. Об этом, собственно, и была наша беседа с Викторией Верберг и Валерием Ненашевым: из тех, кто был всегда рядом, эти двое оказались самыми близкими и самыми верными.

Я не ставил себе задачи как-то "направлять" разговор, да в этом и не было нужды. Потому беседа за кофе и сигаретами, и даже на кухне (словно бы в бессознательной попытке — наивной и безнадежной! — воссоздать атмосферу тех самых посиделок, про которые они вспоминают), может показаться излишне "домашней". Мне кажется, впечатление это обманчиво. Быть может, уникальность Эфроса и Крымовой в том, отчасти, и заключалась, что и на кухне, и на даче, и в огороде, — они оставались такими же, какими были. Такими же оставались и такими же раскрывались — тем, кому раскрываться хотели — или тем, перед кем не считали необходимым таиться. Речь, в данном случае, только о понимании, ни о чем другом. И кто знает, быть может, в том бесстрашии, с каким Верберг играет в спектакле ТЮЗа "Иванов и другие" свою Сарру, — что-то от Крымовой. А в трагической фигуре ненашевского Соленого ("Три сестры" Театра на Покровке) — от одиночества Эфроса. Одно абсолютно мне очевидно: сколь все, некогда услышанное, подсмотренное, угаданное, — в них обоих отозвалось. Это, быть может, — самое главное.

3 июля — день рождения Эфроса. День памяти.

Юрий ФРИДШТЕЙН

дой" надо было все-таки позаниматься. Он ответил, что вот теперь можно нарабатывать мастерство, а тогда, вначале, он хотел дать нам возможность сразу проникнуть в суть. Потому что суть — главное, именно на ней актер растёт. И тогда же он нам заявил: "Буду работать с вами, как со своими актерами. Вы не дети".

Верберг: Еще сказал: "Хорошо, когда есть хорошая компания хороших людей". Он нас действительно очень любил. Он говорил: "Я ведь за вами наблюдаю. Вот у вас перерыв, а я смотрю, кто как пошел, кто как с кем разговаривает, как выясняет отношения, как курит, как бычок гасит". С тех пор это у меня прямо в затылке сидело: как сигарету взять, чтобы было красиво, как у Оли Яковлевой, как спину держать... Не хотелось его огорчать — как, например, не хочется огорчать маму.

Ненашев: Мы ведь поначалу

испытывали такой пиетет, почтение, трепет, а он сразу так поставил, словно он абсолютно свой, а вовсе не великий. Ну, и к курсу третьему мы стали садиться ему на голову. Например, он приходит на занятия, а отрепетированных отрывков нет.

Верберг: А для него — это катастрофа! Мы ведь наблюдали других мастеров: приходили эпизодически, оценивали, с высоты птичьего полета, и возвращались к своим важным делам. Эфрос приходил на занятия по мастерству каждый день. Он очень много, кто как пошел, очень много в нас вкладывал. Он так нам доверял. Но когда мы не поздравили его с призом БИТЕФа — как же он обиделся: "Сволочи, даже ничего не сказали, даже не поздравили". Нас это просто убило. А с какого-то момента сложилась группа, очень небольшая, ставшая особенно близкой, те, кто продолжал приходить и к Ната-

лье Анатольевне, когда его уже не было. Хотя мы и к нему часто приезжали — пекли у меня пироги, подарки какие-то придумывали. На 60-летие сшили ему из лоскутков атласа шапочку Мастера.

Ненашев: Все, кто 3 июля еще был в Москве, приезжали к нему на дачу. После первого курса мы сделали ему в подарок человека, из самых разных предметов. А из ушей у него торчали всякие поздравления.

Верберг: А цыган изображали тогда же?

Ненашев: Нет, это уже на следующий год. Нас стало меньше, Васильев многих перетянул на свою сторону, в особенности, режиссеров.

А.В. ужасно переживал, если у нас что-то не получалось. Переживал, иногда очень сильно ругался. Но когда получалось... Помню, мы с Викой играли отрывок из "Пяти вечеров", просто

рабочий показ. Кончили, сели, смотрим — а у него слезы.

Он всегда оценивал без всяких там витиеватостей. Не получилось — значит неправильный разбор. И начинал разбирать заново. А когда получалось — то все становилось так легко, так удобно, и сразу возникали логика, смысл. Это и было главное, чему он нас учил: разбору, который шел бы не от головы, а от сердца.

Верберг: Эфрос же всегда призывал: освоите сначала простую арифметику, а высшая математика — это потом. Сначала сделайте просто. По эмоциональному разбору. Но в этом-то и заключена самая великая тайна.

Ненашев: Именно ею он и владел. После него такого больше нет. С ним вообще было просто. Не понимал никогда, из-за чего с ним ссорились его актеры. Если он все так разобрал, и так показал — кажется, ну что еще: выходи и играй.

Верберг: Он ведь сам потрясающе показывал, причем, с таким юмором, так весело, смешно, неожиданно.

— А повторить это можно было?

Верберг: Кажется, все так просто, а попробуй сделать...

У нас был один отрывок из "Фантазий Фарятьева", я там пела, под гитару. Получилось неплохо, он похвалил, все нормально, потом помолчал немножко и говорит: когда ты будешь играть так, как поешь, — вот тогда это будет то, что надо. Даже не хочу расшифровывать, хотя очень точно понимаю, что он имел в виду.

— Он так говорил, что расшифровывать, словами называть, было не нужно, что все было понятно и так?

Верберг: Именно! Часть того, что он мне тогда говорил, и сейчас приходит мне на помощь. Выручает.

— Он вообще часто приходит на помощь?

Верберг: Очень часто.

Ненашев: Всегда. Эфрос был примером правильной жизни в искусстве.

Верберг: Прошли годы, и как же часто приходится убеждаться, насколько большие режиссеры или большие актеры человечески не соответствуют своему дарованию. Они могут создавать невероятной глубины тончайшие психологические связи, а сами... Анатолий Васильевич, наверное, единственное в своем роде исключение, потому что человечески он был так же абсолютно прекрасен, и так же тонок, хрупок, раним, как и в своих спектаклях. Но при этом — какая в нем была мощь! Я думаю, одна из причин того, что моя собственная судьба не так счастливо складывается, в том, что мне обязательно и необходимо следовать человеческой высоте Эфроса. Мир театра жесток, а подчас просто жуткая помойка. Но все равно, следовать его высоте для меня всегда будет важно. И не оттого, что на небесах "зачтется". Иногда с ужасом думаю: а не встретить я его? И была бы, как все, как большинство наших коллег, творящих самые жуткие вещи, ведущих себя в лучших традициях худших представлений о том, что такое театр изнутри.

— Хочется иногда что-то сделать "не то", потом думаете — нет.

Верберг: Даже и не хочется.

Ненашев: Часто думаешь, а как бы Анатолий Васильевич поступил? И этого оказывается достаточно.

— Действительно?

Ненашев: Да, представь. Он был очень честный человек. Каждому из нас, в конце каждого курса, между прочим, при всех он говорил полную правду.

Мне после второго курса сказал: у тебя сложная фактура, тебе надо очень много над собой

Эфрос и Ненашев



работать, чтобы потом в театре не было проблем. Я это на всю жизнь запомнил. А в конце четвертого курса ему нужно было на всех написать характеристики. Как староста курса, я ему это передал. Через несколько дней приходит: вот, я несколько строк про каждого написал, остальное пусть в деканате сами придумывают. То есть, про каждого — самое главное, свою оценку. Потом вызывает меня декан: смотри, что же он пишет, вот, например, про тебя: замечательный актер, способен на драматические и комические роли. В итоге "развернутое" писал, по-моему, сам декан. А для Эфроса этих слов было совершенно достаточно.

Верберг: У меня были проблемы со сценарием: "же — ше" хромало. Ничего не выходило, и гнобили меня по-страшному. Кафедра речи — глухие столетние бабки, настоящие тортиллы. Ситуация была ужасная, конец семестра. Вдруг каким-то образом у меня обнаруживается четверка. Что же оказалось? Эфрос пошел к этим тортиллам и заявил им: "же — ше" это ее изюминка, и точка. Оставьте девочку в покое. Так и пошла я по жизни с этой "изюминкой".

Ненашев: Я вспоминаю оба театра, где проходили наши занятия, — и Малую Бронную, и Таганку, и везде нас не любили. Он должен был бегать, выклинивать для нас ключи от комнат. Это было ужасно!

Верберг: Он был человеком невероятно незащищенным. Даже улыбка — ну, совершенно детская. Театральные хитросплетения, интриги всякие — этого он совсем не умел.

Ненашев: Почему он предпочитал заниматься с нами прямо в театре? Да в ГИТИСе с помещением плохо, а он занятия по мастерству, вместо положенных по расписанию трех раз в неделю, проводил каждый день! На Таганке добился все-таки, чтобы нам отгородили шторой часть фойе в старом здании, и часто нам гово-

рил: я прохожу к себе в кабинет, а вы там репетируете, репетируете, как мне это приятно.

— **Никогда вас не раздражало, что занятия каждый день?**

Ненашев: Что вы!!! Чем больше, тем только лучше!

Верберг: Иногда вспоминаю, какой мы жили жизнью — такое ощущение, что репетировали с утра до ночи!

Ненашев: Ведь это он привил нам любовь к профессии — а кто же еще!

Верберг: С утра до ночи! С самого утра бегом бежали, и так каждый божий день!

Ненашев: Иногда мы не успевали подготовить отрывки — элементарно не хватало времени, разве что где-то утром, между лекциями. А как вечер — у него в театре начинается спектакль, и он идет к нам. У него ведь, кроме нас, еще и так называемые вольные слушатели были, и они так же участвовали в отрывках, и он так же делал им замечания.

Верберг: И абсолютно так же тратился. С других курсов приходили, всех пускал. И замечания всегда делал — при всех. Например, мог сказать: это — чушь! А если ему что-то не нравилось — знаете, как он смотрел... Сразу было видно, что не нравится. Сядет эдак, нога на ногу, и смотрит куда-то вбок. И мы понимаем: недоволен.

— **А если недоволен — то это что было? Ужас, катастрофа?**

Ненашев: Вовсе нет! Хотя собственное ощущение — очень неприятное: Эфросу не понравилось. Но страха не было никогда.

Верберг: Видимо, оттого, что он был честен, открыт, доступен, все и было так просто. Наоборот, было фантастическое ощущение своей защищенности. Уверенности, что он тебя не бросит, что поможет.

Ненашев: Хотя были и такие, кого он выгонял. Причем это могли быть люди, профессионально вполне состоятельные, но с человеческой червоточиной.

Верберг: Жлобства — не выносили!

Ненашев: Когда наши студенты-режиссеры начинали что-то мудрить, А.В. старался их вразумить, говорил, вы столько всего накрутили, а непонятно, неинтересно, без мысли. Научитесь сначала простому, пусть даже копируя. А потом, он ведь еще понимал, что они и нас, актеров, затягивают во всю эту пустую придуманную ерунду. Но достучаться он смог не до всех.

Верберг: Вот, еще одно его любимое словечко: ерунда!

Ненашев: А иногда реакция на отрывок могла быть просто: это очень хорошо.

Верберг: И все. Все!

Ненашев: Не разбирая, почему, отчего, кто как играл. Очень хорошо! Все.

— **Какие же вы счастливые.**

Верберг: Да, действительно...

Ненашев: Как он вообще любил актеров! Уже на Таганке — он приходил к нам после репетиций "На дне" — и рассказывал, какие же замечательные актеры! Боже мой! Он так ими восхищался! Про каждого — подробно, приносил альбом с фотографиями: посмотрите, какие лица!

Верберг: Коротким оказалось наше счастье. Но даже за это время сколько он успел в нас вложить. Потому еще такой чудовищной была эта потеря.

Ненашев: Мы очень долго привыкали к тому, что его больше нет. Потому что разрыв между ним и всем остальным был так огромен. Недаром нам говорили, что курсу Эфроса несладко придется. Слишком была высокая задана планка. Помню, как-то пришел он к нам после кафедры, говорит: "Ребята, вас ругали, сказали, что вы слишком аристократичны, — а я этому рад! Рад, что это в вас воспитал, и что это так заметно. Вас ругали — а я рад!" И еще. Он приучил нас работать самим. Не надеясь на режиссера. Говорил, неизвестно, кому вы попадете.

— **Он, такой режиссер — и учил вас работать без режиссера?**

Верберг: Я часто вспоминаю его слова: если партнер тебе не

дает, играй так, как будто дает. Это именно то, что я реально делаю. И если потом говорят, что Верберг какую-то сцену "тащит", то я-то знаю, почему.

Ненашев: У нас недаром был актерско-режиссерский курс. Его замечания режиссерам — мы же их слышали, и усваивали как-то, и где-то это отложилось.

Верберг: Эфрос был реалист, он понимал, что весь курс, тридцать человек, он в любом случае взять к себе не сможет, потому и учил разбирать роль самостоятельно. Чтобы мы могли жить дальше.

— **А как вы узнали о том, что его больше нет, — помните?**

Верберг: Мы ведь были у них в гостях — накануне его смерти. Он умер 13 января, а накануне, 12, день рождения Натальи Анатольевны. Как всегда, испекли пирог, даже не пирог — торт с ягодами, со взбитыми сливками. Но как-то нам показалось, что маловато. Стала я ходить по квартире, искать, Рождество все-таки. Даже сейчас, когда я про это вспоминаю, — мурашки. И вдруг вижу: свечи! Как удачно: пирог, и к нему свечи. Вот так мы к ним и заявились. А когда на следующий день пришли, он лежал в своей комнате, и рядом с кроватью горели эти самые свечи.

А как узнали... 13 января у моей мамы день рождения, и обычно все приходило, особенно, кто жил не дома, а в общежитии. Как всегда, тоже приготовили всякие салаты. И в этот самый момент зазвонил телефон, и мне сказали, что Анатолий Васильевич умер. В моей жизни это была первая смерть, и еще такая. И вдруг до меня доходит: сейчас придет Валера, который ничего не знает. Представляете — две эти мысли одновременно: то, что случилось, — и Валера, который сейчас едет к нам с подарком, чтобы поздравить маму. Едет и предвкушает, как мы сядем за стол. И вот я вижу в окно: идет, три гвоздички несет, улыбается. Окно не открыть, заклеено, а мне надо поскорее обор-

вать это его дурацкое безмятежное состояние, крикнуть ему: Валера, жуткая беда у нас. Максимум, что я могла сделать, это заранее открыть дверь, а дальше он увидел мое лицо, а дальше я уже ничего не помню. Помню только, как всех попросили выйти из зала Театра на Таганке, чтобы смогли проститься только самые близкие.

Помню, как я вышла, как стояла в темном фойе, понимая, что жизнь кончена. Именно так я это ощущала: жизнь кончена. Все надежды, все счастливое, все прекрасное. Может, я придумываю, но мне кажется, что ему положили туда нашу шапочку Мастера.

— **Ощущение той боли не прошло?**

Верберг: Нисколько. Это ощущение бывает, когда от тебя уходит кто-то, кого ты очень любил. Потому, что так любил, — так трудно расставаться, и так не хватает.

Ненашев: Его вообще сейчас в театре не хватает.

Верберг: Об этом я просто молчу: грустная тема.

Ненашев: Если сказать коротко и просто: с ним ушел настоящий театр.

Верберг: Тот театр, про который я могу сказать: мое. Абсолютно мое. То, от чего я плакала, или радовалась, то, что меня потрясало, что было глубоко, тонко, пронзительно. А сейчас много всего, разного, но такого нет! После похорон Натальи Анатольевны мы с Валерой шли по кладбищу и вслух думали, как же могла сложиться наша жизнь, будь Анатолий Васильевич жив. Не карьера, не роли — Жизнь.

Беседовал
Юрий ФРИДШТЕЙН
● А.В.Эфрос со своими
учениками

